

четвертого июля ко мне пришел Валериан Майков. Это было в пять часов в воскресенье, я послал за бутылкою шампанского, и мы распили ее с ним вдвоем, затем я проводил его до Большой Морской, где жили его родители, и это был последний раз, что мы с ним виделись: через несколько дней ко мне зашел Достоевский и объявил, что Валериан утонул на даче в 50-ти верстах за Петербургом. Для меня это известие было не менее тяжело, чем для его родных... Я очень любил В.Н.

Я потому пускаюсь в эти подробности, что смерть Вал. Майкова послужила к тому, что Дудышкин с осени 1846 года занял его место в «Отечественных Записках», но только как сотрудник по отделу библиографии, а впоследствии и критики.

С семейством Майковых Дудышкин по-прежнему сохранил близкие отношения.

*А.В. Старчевский*

## СРЕДЫ Ф. ТОЛСТОГО\*

По инициативе Н.А. Осипова устроились у нас знаменитые «среды», художественные вечера, прототипы позднейших «пятниц» в академии и других подобных вечеров. Осипов был очень интересен: веселый, остроумный, прекрасный чтец, он всегда умел воодушевлять общество. По средам в громадной нашей зале ставились длинные столы, покрытые зеленым сукном, освещенные лампами с рефлекторами, и все наши художники садились за работу: кто рисовал карандашом, кто кистью. Писатели читали тут свои новые вещи, рассказывали, музыканты играли, пели. Публики собиралось очень много, но большею частью все были ар-

\* *Е.Ф. Юнге*, урожд. граф. Толстая. Воспоминания. И-во Сфинкс, с. 61—74.

тисты, и потому эти вечера отличались оживлением, разнообразием, шумной веселостью и вместе с тем интимным характером. Чудные, незабвенные это были вечера. Если бы я захотела перечислить всех замечательных людей, которые собирались тут, то пришлось бы переименовать всех выдающихся тогда наших писателей и художников и очень многих профессоров, музыкантов, актеров и приезжих артистов. Тогда было богатое время по отношению к талантам: если период Пушкина, Жуковского, Гоголя, Брюллова (которые все были друзьями отца) миновал, то все-таки это было время, когда жили Вяземский, Одоевский, — время Тургенева, Писемского, Толстого, Майкова, Иванова... Тут слышали мы превосходное чтение *Писемского*, *Тургенева* и еще более превосходные рассказы последнего, неизданные вещи *Майкова*, *Мея*, *Полонского*, игру *Коптского*, пение *де Бассиши*, *Леоповой* и *Петрова*.

*Н. Ф. Щербина* был душой нашего общества. Многие еще помнят, вероятно, этого маленького, смуглого человека, с необыкновенно блестящими, живыми и пронизательными глазами, помнят его остроумие, его едкие сатиры, но мало кто знал его душевные качества, его трагическую внутреннюю жизнь, те богатые сокровища любви, которые таились под личиной озлобления, мало кто замечал, что в смехе его звучали слезы. Чуткая и нежная душа, страстное стремление к любви, высоко-идеальное представление о женщине — все это было погребено в нем жизнью. Он был весь точно израненный, весь окровавленный внутри, и чем сильнее поднималась в нем боль, тем веселее и ядовитее лились его остроты и оглушительнее гремел гомерический хохот его слушателей.

Как только появлялся Николай Федорович, все занятия прекращались, художники бросали свои кисти,

старички — карты, дети — игрушки, около него образовывался тесный круг, и до утра лились самые оригинальные, самые фантастические импровизации. Тут задевалась и политика и литература, все «злобы дня», рисовались карикатуры нравов, рассказывались уморительные анекдоты, часто о присутствующих, но в них было столько комизма, веселости и добродушия, что никто не обижался. Щербина обладал необыкновенной наблюдательностью и способностью схватывать самые характерные черты человека, обрисовывать личность или кружок каким-нибудь словом так метко, что это слово навеки прилипало к охарактеризованному им лицу или кружку; но зла, желанья сделать кому-нибудь больно не было в Щербине, напротив, он с сердечным тактом умел разграничивать легкую насмешку от обиды, когда говорил о присутствующих. Талант этого человека выражался главным образом в том, что он никогда не повторялся и, множество раз передавая свои сонники и акафисты, умел разнообразить и варьировать их до неузнаваемости, вечно прибавляя что-нибудь новое и совершенно неожиданное. Напечатанные его вещи не дают и понятия о блеске его рассказов. Все новости дня, прочитанная вещь, случайно кем-нибудь сказанное слово — все служило ему темой для нескончаемых импровизаций. Такого хохота, который раздавался между его слушателями, право, мне не случалось потом слышать: хохотали до изнеможения, до боли, а на его лице никогда не появлялось даже и улыбки, он говорил совсем серьезно, точно рассказывал самые обыденные происшествия, и так убежденно, точно вполне верил в их действительность; этот контраст между его выражением и тем, что он рассказывал, производил невероятно комичное впечатление, которому способствовало легкое заикание Николая Федоровича: выходило как бы подчерки-

вание некоторых мест речи и иногда удивительно кстати. Вообще это чуть заметное заикание как-то шло к Щербине.

За этим-то игривым рассказчиком просмотрели страдающего человека и вдохновенного поэта. Щербину как поэта мало знали, а как человека — не понимали вовсе. Об его сатирах все говорили, в обществе его всегда просили рассказать что-нибудь, но только небольшой кружок оценивал вполне, как это делал мой отец, душевные качества Щербины и его дивные антологические стихотворения. В последних, по мнению моего отца, Щербина поднялся на высшие ступени, когда-либо достигнутые самыми великими поэтами.

Бывают личности, к которым всю жизнь судьба несправедлива: к таким принадлежал Щербина, и немудрено, что он сделался мизантропом. Натешивши общество в продолжение целого вечера, вылив в насмешки все свои тайные слезы, иногда набравши в то же время в душу нового негодования, он отправлялся в трактир Палкина и там, одинокий и угрюмый, просиживал до утра; там он работал и читал, а чаще думал свои мрачные думы. При этом он пил один только чай. Утром возвращался он домой и ложился спать.

Часто отец мой и мать выговаривали ему за такой образ жизни; тогда он открывал перед ними свою наболевшую душу, описывал свою безрадостную жизнь, все порывы к тихому личному счастью, всю боль за страдающее человечество, все то, что заставляло его ежиться от людей и уходить в себя.

*Мей* имел вид человека недовольного и страдающего; в противоположность Щербине, он у нас всегда был угрюм и молчалив. Говорили, что он был несчастлив в семейной жизни, что он сильно пил. Это последнее обстоятельство несколько не умаляло его в моих

глазах: столько славных людей земли русской пили в то время. Я, впрочем, никогда сама не видела никого из образованных людей пьяным и не знала хорошенько, что значит «пить»; видела я подвыпившим только Рамазанова в тот день, когда он нес отца моего с юбилея, — он был красен, весел и очень мил. Это было нечто отличное от того пьянства хороших людей, которое представлялось мне каким-то непонятным, великим горем. Мне кажется, Писемского можно причислить к той же категории страждущих и ушедших в себя людей, хотя я мало знала его и, может быть, ошибаюсь. Я помню только его превосходное чтение, особенно ненапечатанной тогда «Горькой судьбины», которая впоследствии на сцене произвела на меня менее впечатления, чем при чтении автора\*.

*Бенедиктов* был очень дружен с моей матерью; его я помню в раннем детстве; он был очень застенчив и молчалив; о поэте *Губере* я только много слышала, но не видела его. *Майков*, *Полонский*, *Григорович* и *Тургенев* были уравновешенные натуры, светские люди и всегда были ровны в обращении.

*Майков* был добрый, ласковый, мягкий; он приводил все наше общество в восторг каждым своим новым произведением; он очень эффектно читал.

*Полонский* был у нас совсем свой человек; одно время он давал мне уроки русского языка и словесности; я с нетерпением ждала его уроков, во-первых, потому, что они очень занимали меня, а во-вторых, потому, что после уроков у нас начиналась самая веселая беготня и возня; *Яков Петрович* сам делался ребенком с нами.

*Тургенев* бывал у нас реже и импонировал нам, де-

---

\* Мей, Щербина, Ап. Майков, Курочкин в 1855—1858 годах бывали в кружке А.А. Солнцева. См. Воспоминания *Юрия Арнольда*. Выпуск III.

тям; мы с наслаждением слушали его рассказы, но в интимности с ним не пускались. Его мужественное лицо, обрамленное бородой и гривой густых волос, казалось нам настолько величественным, что мы иначе не называли Тургенева, как «Юпитер Сергеевич».

Из более молодых писателей, бывавших у нас довольно часто, упомяну *А. А. Потехина* и *Г. Н. Данилевского*. С последним мы, дети, были очень дружны; он каждый раз обедал у нас, в сумерки сажал нас около себя и рассказывал нам украинские сказки. Бывали у нас и любители-поэты: *Розенгейм*, *Алферьев*, *Арбузов*. Из писательниц — *Хвоцинская*, *Жадовская* и *Т. П. Пассек*. *Горбунов* начинал появляться со своими рассказами. После войны приезжал в Петербург и явился к нам *Л. Н. Толстой*; он тогда был еще очень молод, но его произведения читались нарасхват; он уже стоял наряду с лучшими писателями, а наш кружок ставил его выше многих; в его «*Детстве*» и «*Севастопольских рассказах*» веяло чем-то совсем новым, но таким, что находило отголосок во многих сердцах.

Одного только симпатичного поэта, моего двоюродного брата, *Алексея Константиновича Толстого*, не видала я в нашем доме во время моего детства и познакомилась с ним много позднее. Он был в ссоре со своим отцом, Константином Петровичем, и не хотел встречаться с ним, а наш милый «дядя Костя» бывал у нас ежедневно. Они помирились уже перед самой смертью последнего.

Мать моя была в деятельной переписке с поэтом *Никитиным* и иногда читала нашему кружку его теплые, интересные письма, а позднее и замечательные письма к ней *Шевченко*.

Кроме воскресений и сред, в другие дни у нас тоже постоянно бывали гости: часто к обеду приходили двое-трое, а вечером иногда неожиданно собиралось довольно большое общество.

На святках наши друзья делали нам неожиданные сюрпризы. Бывало, сидим мы себе спокойно дома; отец, по обыкновению, работает у себя в кабинете, у мамы в будуаре кто-нибудь читает, мы приутились тут же; в темной анфиладе комнат тишина... Вдруг — звонок!.. Вбегает горничная и, запыхавшись, возвещает: «Ряженые приехали». Залу моментально освещают; является несколько пар масок, за костюмированных с тем оттенком правдивости времени и стиля, которую так хорошо умеют придать маскарадным костюмам художники. Все это наши ежедневные посетители, но они долго интригуют нас, пока нам удастся узнать их. На меня (даже и до сих пор) неприятно действуют маски, и я прошу снять их. Начинаются танцы. Я убегаю, надеваю свой сарафан, распускаю свою тяжелую косу и пляшу «русскую»; папа импровизирует несколько па менуэта. Ив. Ив. Соколов изображает балетную танцовщицу, что крайне комично при его долговязой фигуре; Рюль показывает изумительные фокусы; К.А. Трутовский острит напрапалую, за что получает медные гроши... Шум, гам, смех и музыка звенят в только что перед тем таких молчаливых комнатах... Но почему дверь в гостиную закрыта? Перед ней начинают расставлять стулья, просят публику сесть. Раздается звонок, дверь растворяется — и перед нами эффектно освещенная живая картина: Фауст и Мефистофель. Через минуту картина оживляется; голова Фауста досадливо поднимается с руки, на которой покоилась:

— Мне скучно, бес!

— Что делать, Фауст!..

— звучат слова Пушкина, превосходно переданные Соколовым и в особенности Осиповым (Мефистофель). По окончании — взрыв рукоплесканий, а потом, как всегда бывает, критика, споры... А тетя уже ус-

пела позаботиться об ужине. Несмотря на скромное местечко, которое она занимала в нем, весь наш блестящий кружок кажется мне невыносимым без этой тихой и ласковой хозяйки за столом. Она была как солнце в серенький летний день: оно не блестит, но все же светит и греет, и без него нельзя обойтись...

Иногда так же неожиданно приезжали тройки и увозили нас кататься при звуках песен и прибауток. Тройки несутся вперегонку, забрасывая снегом... «Эй вы, голубчики! Не здесь умирать — у бочки». — «Эй вы, милые, с горки на горку — барин даст на водку!» — орут веселые голоса; бывало, даже ямщики разойдутся и грянут какую-нибудь удалую, залихватскую песню...

Весело, широко жилось. Но все было проникнуто простотой и потому более доступно, чем теперь. Смешно вспомнить, из чего состояли наши ужины, — даже на больших вечерах подавались к закуске: селедка, икра, сыр, потом какая-нибудь ветчина с горошком, громадная телятина или ростбиф, домашний сладкий пирог, из напитков — St. Julien или Медок в 60 коп. Но нашим гостям не требовалось помощи шипящего шампанского для возбуждения в них веселости и остроумия, и без того шуточки, тосты, анекдоты, споры, а иногда и песни, раздавались за нашим столом до самого утра...

Пустая игра, часто и теперь употребляемая под именем «игры во мнения» (у нас она называлась «цензурой»), являлась в нашем кружке в высшей степени интересной. Игра состояла в том, что один из присутствующих, назвавшись какою-нибудь вещью, удаляется; остальные высказывают об этой вещи свои мнения: вернувшийся должен выбрать одно из этих мнений и отгадать, кто его подал. Все наши писатели принимали участие в этой игре. Остротам, метким характеристикам не было конца — подчас зло продергивали



друг друга, но у нас было принято не обижаться, — каждый давал не одно мнение, а десять, двенадцать, все это записывалось на целых листах, — Щербина был неистощим, и он, и Майков, и многие другие писали стихами; этих эпиграмм и острот набралось бы на целый том, если бы кто-нибудь из нас догадался припрятывать их; это было тем более интересно, что почти все подлежащие «цензуре» — были известными личностями в нашей литературе и в нашем искусстве. К сожалению, мы не думали о будущем, а в настоящем так привыкли к окружавшему нас обществу, что во всем этом не видели ничего особенного: нам казалось, что все это всегда будет так и быть должно.

Сам отец мой был не прочь пошутить и поиграть, в особенности после его послеобеденного сна, *entre chien et loup*. Иногда серьезные люди, обедавшие у нас, с ним во главе просто играли с нами в «кошки-мышки» или в «жмурки». Отец поразительно ловко жонглировал пятью медными шарами и большим шнурком с кистями, который с невероятной быстротой описывал вокруг его головы всевозможные фигуры.

Но я слишком увлеклась шуточной стороной нашего времяпрепровождения и не говорила еще о серьезном воспитательном значении, которое имел дом отца моего для наших молодых художников, — а оно, по словам их самих, было громадно.

В то время для поступления в академию не требовалось никаких дипломов; часто поступали молодые люди совершенно неразвитые, чуть ли не безграмотные и не бывавшие никогда в обществе. Лишь только отец замечал признаки таланта в ком-нибудь из них — сейчас ободрял его, поддерживал и звал к себе.

«Притащенный к вам почти насильно товарищами, — рассказывал мне впоследствии один из наших известных художников, — дико озираешься на незнакомое

общество, сидишь ни жив ни мертв на кончике стула, а потом понемногу начинаешь чувствовать, что ты тут не чужой, что ты такой же гость, как и все прочие; не снисходительное покровительство встречаешь к себе, а полное равенство и ласковое участие. Скоро видишь себя поставленным на один уровень с людьми, стоящими выше в сословной и в художественной иерархии, и болезненное самолюбие исчезает, как-то подымаешься в своих собственных глазах. Прислушиваясь к тому, что говорилось и читалось вокруг, мы многому научились, а в то же время рождалась потребность еще большего знания и развития. Потом самого уже тянет в тот круг, где столько интересного, где не унижают человеческого достоинства, где и ты чувствуешь себя кем-нибудь... Ваш дом был для нас школой, мы тут и образовывались, и воспитывались. Сначала и не опомнишься, а выйдешь от вас уже другим человеком!»

«Дом графа Ф.П. Толстого, — говорит Рамазанов\*, — самый воздух которого, кажется, был пропитан влечением к искусству, был постоянно высшею школою для молодых художников, имевших счастье бывать в кругу ученых, литераторов, опытных художников, поэтов, музыкантов и певцов, собиравшихся у Ф.П. по воскресеньям».

Отец мой был в высшей степени беспритязателен, до крайности скромнен; он всегда стужевывался, давая высказаться другим, но все бывшие у нас невольно поддавались его очарованию, проникались чем-то исходящим от него и сплачивались около него, как около очага. Без всякого желания с его стороны, его духовная сила сказывалась и в семье, и в гостиной.

Моя мать это хорошо понимала — она никогда в обществе не выставляла себя вперед, а всегда казалась только первой поклонницей и живой помощницей от-

---

\* Материалы для истории художеств.

ца. В салоне мать моя была удивительная хозяйка: глаз ее был всюду, она умела возбудить интерес застывающего разговора, соединить разнородные элементы, поднять настроение общества. «А ведь надо правду сказать, — говорил мне Н. А. Северцев, когда мы с ним как-то вспоминали старину, — удивительно умела графиня возбудить во всех нас какое-то поэтическое настроение, создать поэтическую атмосферу».

В то же время, когда мало читалось на Руси книг, общение с людьми образованными действительно имело значение школы для молодежи, и понятно, какую важность имел для них такой дом, как наш.

*Е. Ф. Юнге*

### КРУЖКИ А. ПЛЕЩЕЕВА И С. ДУРОВА\*

Познакомился я с *Ф. М. Достоевским* зимою 1848 года. Это было тяжелое время для тогдашней образованной молодежи. С первых дней парижской Февральской революции самые неожиданные события сменялись в Европе одни другими. Небывалые реформы Пия IX отозвались восстаниями в Милане, Венеции, Неаполе; взрыв свободных идей в Германии вызвал революции в Берлине и Вене. Казалось, готовится какое-то общее перерождение всего европейского мира. Гнилые основы старой реакции падали, и новая жизнь зачиналась во всей Европе. Но в то же время в России господствовал тяжелый застой; наука и печать все более и более стеснялись, и придавленная общественная жизнь ничем не проявляла своей деятельности. Из-за границы проникала контрабандным путем масса либеральных сочинений как ученых, так и чисто литера-

---

\* *А. Милуков*. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890, с. 169—185.